

Хладнокровное убийство

Автор:

[Трумен Капоте](#)

Хладнокровное убийство

Трумен Капоте

Азбука Premium

Трумен Капоте, автор таких бестселлеров, как «Завтрак у Тиффани» (повесть, прославленная в 1961 году экранизацией с Одри Хепберн в главной роли), «Голоса травы», «Другие голоса, другие комнаты», «Призраки в солнечном свете» и прочих, входит в число крупнейших американских прозаиков XX века. Самым значительным произведением Капоте многие считают роман «Хладнокровное убийство», основанный на истории реального преступления и раскрывающий природу насилия как сложного социального и психологического феномена. Книга Капоте, мгновенно ставшая бестселлером, породила особый жанр «романа-репортажа» и открыла путь прозе Нормана Мейлера и Тома Вулфа. Взвешенность и непредубежденность авторской позиции, блестящая выверенность стиля, полифоничность изображения сделали роман Капоте образцом документально-художественной литературы; в списке 100 лучших книг XX века по версии газеты The Guardian «Хладнокровное убийство» заняло 84-ю позицию. Одноименная экранизация Ричарда Брукса, выпущенная сразу после публикации романа Капоте, быланоминирована на четыре «Оскара».

Трумен Капоте

Хладнокровное убийство

Джеку Данфи и Харпер Ли с любовью и благодарностью

Frères humains qui après nous vivez,
N'ayez les cuers contre nous endurcis,
Car, se pitie de nous povres avez,
Dieu en aura plus tost de vous mercis.

Francois Villon. Ballade des pendus

Мы жили, как и ты. Нас больше нет.
Не вздумай осуждать – безумны люди.
Мы ничего не возразим в ответ.
Взглянул и помолишь, а Бог рассудит.

Франсуа Вийон. Баллада о повешенных (Перевод И. Эренбурга)

Truman Capote

IN COLD BLOOD

Copyright © 1965 by Truman Capote

Copyright renewed © 1993 by Alan U. Schwartz

© М. Гальперина, перевод, 2001

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»,
2017

Издательство АЗБУКА®

* * *

Капоте был светским львом: его жизнь проходила в бесконечных пафосных приемах и богемных вечеринках. Самый главный кайф он получал от сильных эмоциональных встрясок – дружил с приговоренными убийцами, бросался в омут романтических походов, садился на бесконечные диеты. Автор «Завтрака у Тиффани» и «Хладнокровного убийства» всю жизнь боролся с депрессией, от которой помимо виски лечился всеми разрешенными и запрещенными медикаментозными средствами... С бременем славы у Капоте тоже были двойственные отношения. Литератор Джон Ноуэлл однажды завистливо заметил: «В Америке есть только два писателя, которых узнают на улице, – Эрнест Хемингуэй и Трумен Капоте».

Maxim

У меня было очень тяжелое детство. Полное отсутствие любви. Но к семнадцати годам я был законченным писателем. Удовольствие кончилось, когда я обнаружил разницу между хорошим письмом и плохим; а потом сделал еще более тревожное открытие, ощутив разницу между очень хорошим письмом и подлинным искусством. Едва уловимую – но страшную.

Трумен Капоте

«Хладнокровное убийство» отняло у меня почти пять лет жизни, да еще год ушел на выздоровление – если годится такое слово; дня не проходит, чтоб на душу мне не легла тень этого опыта.

Трумен Капоте

Шедевр... завораживающая работа.

Life

Выдающийся, невероятно увлекательный, великолепно написанный «документальный роман».

The New York Times

Трумен Капоте – стилист высочайшего класса... надежда современной литературы.

Сомерсет Моэм

Рожденный в 1924 году на крайнем юге Америки, Трумен Капоте – отличный автор.

Эдуард Лимонов

* * *

Весь материал книги, кроме того, который является плодом моих личных наблюдений или взят из официальных документов и интервью с людьми, непосредственно причастными к событиям, по большей части – результат многочисленных расспросов, которые я производил в течение долгого времени. Поскольку те, кто со мной «сотрудничал», упомянуты в тексте, излишне называть их имена здесь; однако я хочу официально принести им свою благодарность, ведь если бы не их терпеливое содействие, моя задача была бы невыполнима. Также я не стану пытаться перечислить всех тех жителей округа Финней, которые, хотя имена их и не встречаются на страницах книги, отнеслись к автору с такой теплотой и гостеприимством, за какие можно только отблагодарить, но нельзя расплатиться. И все же я не могу не сказать спасибо тем из них, кто внес в мою работу особый вклад: ректору Канзасского университета доктору Джеймсу Маккейну; мистеру Логану Сэнфорду и сотрудникам Канзасского бюро расследований; мистеру Чарльзу Макейти, директору исправительных учреждений штата Канзас; мистеру Клиффорду Р. Хоупу-младшему, чья помощь в решении правовых вопросов неоценима; и – в последнюю, но главную очередь – мистеру Уильяму Шоуну из журнала

«Ньюйоркер», который подвиг меня взяться за эту работу и чьи замечания сослужили мне добрую службу.

* * *

Часть 1

Последние, кто видел их живыми

Поселок Холкомб стоит среди пшеничных равнин западного Канзаса, в глухом краю, который прочие канзасцы обозначают словом «там». До восточной границы Колорадо всего семьдесят миль, но синева неба и пустынная прозрачность воздуха в этих краях напоминают скорее Дальний, чем Средний Запад. Местный акцент цепляет слух характерным для жителей прерий растягиванием гласных, гнусавостью ранчеро; здесь в обычае носить штаны в обтяжку, «стетсон» и остроносые сапоги на высоком каблуке. Земля тут плоская, и открывающийся вид своей бескрайностью внушает почти благоговейный страх; табуны лошадей, стада коров и белая россыпь элеваторов, высящихся величаво, как греческие храмы, видны задолго до того, как к ним приблизишься.

Холкомб тоже виден издалека. Особенно видеть, правда, нечего: беспорядочное нагромождение зданий, разделенное посередине рельсами магистрали Санта-Фе. Случайно возникающий на пути поселок, ограниченный с юга бурой лентой реки Арканзас (не путать с Канзас-Ривер), с севера – шоссе № 50, с востока и запада – прериями и полями пшеницы. После дождя или когда растает только что выпавший снег, густейшая пыль немощеных, незатененных и не имеющих названий улиц превращается в густейшую грязь. На одном конце поселка стоит старый пустой дом с неоновой вывеской «Дансинг» на крыше. Впрочем, танцы давно свернули, и вывеска уже несколько лет не светится. Рядом – еще одно здание с нелепой надписью на грязном окне, сделанной позолоченными буквами, с которых теперь почти стерлась позолота: «Холкомбский банк». Банк закрылся в 1933 году, и бывшие конторы переделали под квартиры. Теперь это один из двух здешних многоквартирных домов; второй – это ветхое строение, известное в народе благодаря тому, что в нем живут почти все учителя местной

школы, под названием «Учительская». А в основном дома в Холкомбе одноэтажные, с верандой по фасаду.

Недалеко от станции – кренящееся набок здание почты, где восседает почтмейстерша, костлявая женщина в кожаной тужурке, джинсах и ковбойских сапогах. Сама станция – облезлый домишко цвета серы – тоже не радует глаз. «Чиф», «Супер-Чиф» и «Эль-Капитан» каждый день проносятся мимо, но ни один из этих знаменитых экспрессов здесь не останавливается. И пассажирские не останавливаются – только случайные товарняки. Выше по шоссе есть две бензоколонки; одна по совместительству служит бакалейной лавкой (но выбор там небогатый), а вторая – кафе, «Кафе Хартман», где миссис Хартман, его содержательница, подает клиентам бутерброды, кофе, соки и легкое пиво (Холкомб, как и весь Канзас, «не употребляет»).

И это, собственно, все. Разве что стоит упомянуть еще холкомбскую школу – заведение, чей внешний облик прямо указывает на факт, который в поселке стараются не подчеркивать: родители учеников этой современной «объединенной» школы с самыми лучшими преподавателями и методиками от начальной ступени вплоть до самой последней, куда детей привозит целый парк автобусов (обычно более трех с половиной сотен ребятишек съезжаются в школу со всей округи в радиусе чуть ли не шестьдесят миль), – люди в основном преуспевающие. Большинство из них фермеры, народ пришлый и притом самого разного происхождения: немцы, ирландцы, норвежцы, мексиканцы и даже японцы. Они разводят коров и овец, сеют пшеницу, просо, выращивают луговые травы и сахарную свеклу. Урожай повсюду зависит от удачи, а жители западного Канзаса вообще называют себя «прирожденными игроками», поскольку им вечно приходится иметь дело с исключительной скудостью осадков – в год едва набегает восемнадцать дюймов – и мучительно биться над проблемой полива. Правда, последние семь лет обошлись без засухи и были временем изобилия. А хозяева ранчо в округе Финней, к которому относится Холкомб, вообще не бедствуют: доход им приносит не только скотоводство, но и природный газ – его запасы в этих местах неисчерпаемы, – и это можно заметить по новой школе, интерьерам благоустроенных фермерских домиков и по элеваторам, которые ломятся от зерна.

Вплоть до одного ноябрьского утра 1959 года мало кто из американцев – собственно говоря, даже мало кто из канзасцев – слышал о том, что есть такое местечко Холкомб. Так же, как воды реки, так же, как автомобилисты на шоссе и желтые вагоны, громяющие по рельсам магистрали Санта-Фе, драма, в виде

какого-либо из ряда вон выходящего события, всегда миновала эти места. Жителей, которых насчитывалось ровно двести семьдесят, это вполне устраивало, и им нравилось вести обычную жизнь: работать, охотиться, смотреть телевизор, ходить на школьные собрания, занятия хора и заседания клуба «4С». Но в тот день, в предрассветные часы ноябрьского воскресенья, привычную ночную гамму Холкомба, состоящую из назойливых жалоб койотов, сухого шуршания перекасти-поля и коротких удаляющихся свистков паровоза, нарушили чуждые звуки. В ту минуту ни один человек в спящем Холкомбе не услышал четыре ружейных выстрела, погубившие, как говорили потом, шесть человеческих жизней. Зато уже после жители поселка, которые прежде доверяли друг другу настолько, что редко удосуживались запереть дверь, снова и снова слышали их в своем воображении – те зловещие хлопки, что разожгли огоньки недоверия, в разгоревшемся пламени которого многие старые соседи взглянули друг на друга как незнакомцы на незнакомцев.

* * *

Хозяину фермы «Речная Долина» Герберту Уильяму Клаттеру было сорок восемь лет, и в результате недавнего медицинского обследования, сделанного для получения страхового полиса, выяснилось, что он в отличной форме. Несмотря на то что мистер Клаттер носил изящные очки без оправы и роста был среднего – пять футов десять дюймов, – внешность он имел мужественную. Плечи у него были широкие, волосы до сих пор оставались темными, волевое лицо с квадратным подбородком сохранило здоровый цвет молодости, а зубы, белоснежные и такие крепкие, что он легко разгрызал грецкий орех, были все до единого целы. Он весил сто пятьдесят четыре фунта – ровно столько, сколько в тот день, когда окончил Канзасский университет, где приумножал свои познания в сельском хозяйстве. Мистер Клаттер был не так состоятелен, как главный богач Холкомба мистер Тейлор Джонс, владелец соседнего ранчо, зато из всех местных жителей пользовался самой широкой известностью, причем не только в Холкомбе, но и в Гарден-Сити, расположенном неподалеку центре округа, где он возглавлял комитет по строительству недавно завершеного здания Первой методистской церкви – монументального сооружения стоимостью восемьсот тысяч долларов. В настоящее время мистер Клаттер являлся председателем Канзасской конференции фермерских хозяйств, и его имя с уважением произносили не только фермеры всего Среднего Запада, но и многие чиновники в ведомствах Вашингтона: во времена Эйзенхауэра он был членом Федеральной фермерской кредитной комиссии.

Мистер Клаттер всегда знал, что ему нужно от жизни, и все, что хотел, в общем, уже получил. На левой руке, на обрубке пальца – одну фалангу он себе много лет назад отхватил каким-то сельскохозяйственным механизмом, – мистер Клаттер носил простое золотое кольцо; уже четверть века оно являлось символом его женитьбы на той, на ком он хотел жениться, – сестре его однокурсника в колледже, робкой, набожной и утонченной девушке по имени Бонни Фокс. Бонни была на три года моложе мужа. Она подарила ему четверых детей – трех дочек и наконец сына. Старшая дочь, Эвиана, уже вышла замуж и десять месяцев назад родила мальчика. Она жила в северном Иллинойсе, но часто навещалась в Холкомб. Кстати сказать, ее очередного визита ждали через две недели – с ребенком и с мужем: ее родители собирались устроить на День благодарения торжественный сбор клана Клаттеров (берущего начало из Германии; первый иммигрант Клаттер – или Клоттер, как тогда писалась эта фамилия, – приехал сюда в 1880 году). Были приглашены все родственники – пятьдесят с лишним человек; должны были приехать даже те, что жили у черта на рогах – в Палатке, штат Флорида. Беверли, вторая по старшинству после Эвианы, тоже покинула «Речную Долину»; теперь она жила в Канзас-Сити, училась там на медсестру. Беверли была помолвлена с юным студентом-биологом; ее отцу он пришелся весьма по душе. Приглашения на свадьбу, намеченную на рождественскую неделю, были уже напечатаны. Таким образом, в доме помимо родителей оставались еще Кеньон, который в свои пятнадцать лет был уже на голову выше отца, и третья сестра, на год старше Кеньона, – любимица всего Холкомба Нэнси.

В отношении семьи у мистера Клаттера был лишь один серьезный повод для беспокойства – здоровье жены. Она была «нервной», у нее случались «небольшие срывы», как деликатно именовали это близкие. Конечно же, «недомогания бедной Бонни» ни в коей мере не являлись секретом для окружающих, все знали, что последние шесть лет она то и дело лечилась у психиатра. И все-таки даже над этой теневой стороной дома совсем недавно блеснул солнечный луч. В прошлую среду, вернувшись после двухнедельного пребывания в медицинском центре Уэсли в Уичито, где она обычно пряталась от мира, миссис Клаттер принесла своему мужу почти невероятное известие. Она с радостью сообщила ему, что причина ее несчастий, как наконец-то установили врачи, кроется не в голове, а в позвоночнике. Причина сугубо физиологическая – ущемление нерва. Разумеется, ей придется лечь на операцию, зато потом – о! – она снова станет «собой прежней». Неужели это возможно? Постоянное напряжение, замкнутость, рыдания в подушку за закрытыми дверьми – неужели всем этим она обязана всего лишь смещению каких-то там позвонков? Если так, тогда мистеру Клаттеру перед трапезой в День благодарения останется только

вознести Господу ничем не омраченную благодарственную молитву.

Как правило, утро мистера Клаттера начиналось в половине седьмого: обычно его будило звяканье ведер с молоком и шепот мальчишек, которые их приносили, – сыновей Вика Ирзика. Но сегодня график был нарушен, сыновья Вика Ирзика пришли и ушли, а он их даже не услышал и встал с опозданием. Вчерашний вечер – пятница, тринадцатое – был довольно утомительным, хотя и приятным. Бонни вспомнила «себя прежнюю», словно в залог своей будущей нормальности и энергии, которая скоро к ней возвратится. Она накрасила губы, долго возилась с прической и, надев новое платье, отправилась с мужем в холкомбскую школу, смотреть самодеятельную постановку «Тома Сойера», где Нэнси играла Бекки Тэтчер. Мистер Клаттер радовался тому, что Бонни показалась на людях, что она хоть и нервничает, но все-таки улыбается, разговаривая с другими родителями. И оба они гордились своей Нэнси: она так хорошо играла, ни словечка не забыла, а уж выглядела, как он сказал ей, когда поздравлял за кулисами, «просто очаровательно, моя милая, – настоящая красавица-южанка». После чего Нэнси, как и подобает красавицам-южанкам, сделала реверанс, шурша юбкой с кринолином, а потом спросила, нельзя ли ей съездить в Гарден-Сити? В половине двенадцатого ночи в окружном театре показывают особый – ведь сегодня пятница, тринадцатое – фильм ужасов, и все ее друзья там будут. При других обстоятельствах мистер Клаттер не разрешил бы. Правила есть правила, и одно из них гласит: Нэнси – и Кеньон тоже – должны быть дома к десяти вечера по будням и к двенадцати по субботам. Но, размякнув от радостных событий этого вечера, он уступил, и Нэнси вернулась домой только около двух. Он слышал, как дочь приехала, и позвал ее; мистер Клаттер не любил повышать голос, но ему нужно было сказать Нэнси пару простых вещей, касающихся не столько позднего возвращения, сколько юнца, который ее привез, – баскетбольного героя школы Бобби Раппа.

Мистер Клаттер относился к Бобби неплохо и считал, что для своего возраста – то есть для семнадцати лет – это довольно-таки надежный и порядочный парень; однако с тех пор, как три года назад Нэнси было позволено ходить на «свидания», она ни с кем, кроме Бобби, не общалась, и хотя мистер Клаттер понимал, что у нынешних подростков принято ходить парами, «дружить» и обмениваться «обручальными» кольцами, он не одобрял этой моды, особенно после того, как недавно застал свою дочь и Бобби, когда они целовались. Тогда он предложил Нэнси перестать «так часто встречаться с Бобби», пояснив, что постепенное отдаление сейчас будет менее болезненным, чем резкий разрыв потом, – ибо, напомнил он ей, рано или поздно это все равно произойдет. Раппы были католиками, Клаттеры – методистами, и одного этого хватало, чтобы

разрушить все мечты о будущем браке, которые могли лелеять их дети. Нэнси вняла голосу разума – во всяком случае, спорить не стала, – и сейчас, прежде чем пожелать ей спокойной ночи, мистер Клаттер взял с нее обещание, что она начнет понемногу бросать Бобби.

Однако все это прискорбным образом помешало ему лечь спать в обычное время – в одиннадцать. В результате, когда он проснулся в субботу, четырнадцатого ноября, было уже значительно больше семи. Жена его всегда спала сколько было возможно, но мистер Клаттер, бреясь, принимая душ и надевая габардиновые брюки, кожаную куртку и мягкие сапоги для верховой езды, не опасался потревожить ее сон. Уже несколько лет он спал один в хозяйской спальне на нижнем этаже двухэтажного кирпичного дома на четырнадцать комнат. Что до Бонни, то она хотя и держала всю одежду в шкафах их общей спальни, а многочисленную косметику и несметное количество лекарств – в смежной с ней ванной, выложенной голубым кафелем, сама прочно пустила корни в бывшей комнате Эвианы, которая, как и спальни Нэнси и Кеньона, располагалась на втором этаже.

Дом – а проект в значительной мере был придуман самим мистером Клаттером, который при этом проявил себя весьма трезвомыслящим и практичным, хотя и не слишком заботящимся о красоте архитектором, – был построен в 1948 году. На строительство ушло сорок тысяч долларов; теперь продажная стоимость дома равнялась шестидесяти тысячам. Симпатичный беленький особнячок, стоящий в конце длинной тенистой аллеи китайских вязов, на широкой ухоженной лужайке, засаженной бермудской травой, производил на жителей Холкомба огромное впечатление; проходя мимо, они почти всегда останавливались и показывали на него пальцем. Что касается интерьера, то здесь сияние звонких лакированных половиц приглушалось топкими коврами цвета сырой печенки; необъятный суперсовременный диван в гостиной был покрыт буклированным покрывалом, перекликающимся по цвету с блестящими столиками из серебристого металла. Главной достопримечательностью ниши для завтраков была покрытая бело-голубым пластиком скамья. Именно такого рода мебель нравилась мистеру и миссис Клаттер – а также почти всем их знакомым, чьи дома были обставлены в том же духе.

Домашней прислуги у Клаттеров не было – только домработница, которая приходила по будням; поэтому после того, как заболела Бонни, а старшие дочери разъехались, мистеру Клаттеру волей-неволей пришлось научиться стряпать. Он сам или Нэнси – но преимущественно Нэнси – готовили на всю

семью. Мистеру Клаттеру нравилось вести хозяйство, и он прекрасно справлялся – ни одной женщине в Канзасе не удавалось лучше его испечь каравай из пресного теста, а его знаменитое кокосовое печенье на благотворительных ярмарках шло нарасхват. Впрочем, сам он не был большим любителем поесть; в отличие от своих домочадцев мистер Клаттер, пожалуй, даже предпочитал спартанский завтрак. В то утро он ограничился стаканом молока и яблоком. Мистер Клаттер не употреблял ни чая, ни кофе и привык начинать день без горячего. Он принципиально отвергал любые стимуляторы, даже самые безобидные. Он не курил и, разумеется, не пил; более того, он ни разу в жизни не пробовал алкоголя и избегал тех, кто пробовал. Впрочем, это обстоятельство не так сильно сузило круг его общения, как можно было бы предположить, поскольку круг этот составляли в основном члены Первой методистской церкви Гарден-Сити, насчитывающей семнадцать тысяч прихожан, и большинство из них отличались желанной мистеру Клаттеру воздержанностью. Несмотря на то что он старался никому не навязывать своих взглядов и не подвергал цензуре то, что лежит вне сферы его влияния, в своей семье и среди наемных работников он насаждал их весьма активно. «Вы пьете?» – был первый вопрос, который мистер Клаттер задавал всякому, кто приходил наниматься, и даже если кандидат отвечал отрицательно, ему все равно приходилось подписывать контракт, содержащий пункт, согласно которому за «хранение алкоголя» работнику грозило немедленное увольнение. Один приятель мистера Клаттера, старый пионер-фермер мистер Линк Рассел, как-то сказал ему: «Ты слишком безжалостен. Готов поклясться, Герб, если ты застукаешь работника с бутылкой, он тут же вылетит из твоего дома. А что его семья будет голодать, тебе плевать». Этот упрек был, вероятно, единственным, который когда-либо заслужил мистер Клаттер в роли работодателя. В остальном же его знали как человека невозмутимого и отзывчивого, всем было известно, что он платит щедро и частенько выдает премиальные; у его наемных работников – а их порой набиралось до восемнадцати человек – не было причин жаловаться.

Допив молоко, мистер Клаттер надел меховую кепку и, прихватив яблоко, вышел на крыльцо взглянуть, какое нынче выдалось утро. Погода была самая подходящая для того, чтобы со вкусом сгрызть яблоко: с чистейшего неба струилось светлейшее сияние, восточный ветер, не позволяя себе разгуляться в полную силу, слегка шелестел последними листьями вязов. Осень вознаграждала Канзас за все зло, причиняемое прочими временами года, – за жестокие зимние ветра, дующие из Колорадо и наметающие высокие сугробы, в которых гибнут овцы; за слякоть и низкий тяжелый туман весенней поры; за лето, когда даже вороны ищут хоть какую-то тень, а золотые колосья сверкают под солнцем так, что больно глазам. Но, наконец, в сентябре погода меняется и

наступает бабье лето, которое в иные годы тянется до самого Рождества. Пока мистер Клаттер любовался чудесным образчиком этого времени года, к нему присоединился дворовый пес – помесь колли не пойми с чем, – и они вместе прошли до загона, примыкающего к одному из трех амбаров, имевшихся на участке.

Первый амбар – огромный сборный дом из гофрированного железа – был доверху набит уэстлендским сорго; в другом высилась островерхая гора проса – на сто тысяч долларов. Эта сумма на четыре тысячи процентов превышала весь доход мистера Клаттера за 1934 год – год, когда он женился на Бонни Фокс и вместе с ней переехал из родного Розела в Гарден-Сити, где устроился помощником сельскохозяйственного агента округа Финней. Примечательно, что ему понадобилось всего каких-то семь месяцев, чтобы продвинуться по службе – то есть занять место своего начальника. За годы, что он занимал этот пост, прогресс пришел и в этот край, который с тех самых пор, как здесь появился белый человек, всегда был пыльным нищим захолустьем. Молодой Герберт Клаттер виртуозно постигал новейшие методы в области сельского хозяйства, и ему вполне хватало умения, чтобы выступать посредником между правительством и унылыми фермерами. Людям нравились оптимизм и грамотные советы приятного молодого человека, который, казалось, знает свое дело. Но все равно он занимался не тем, чем ему хотелось; Герберт, сын фермера, всегда жаждал обрабатывать свою землю. Проработав четыре года агентом, он отказался от должности и на участке, арендованном на взятые займы деньги, основал ферму «Речная Долина» (название, оправданное, конечно же, только близостью извилистой реки Арканзас; никакой долины тут и в помине не было). Те, кто привык жить по старинке, следили за этим его начинанием с недоверчивым любопытством – старожилы и раньше не упускали случая посмеяться над молодым агентом по поводу его университетских понятий: «Это все замечательно, Герб. Ты всегда знаешь, что надо делать с чужой землей. Сажайте то, террасируйте сё. Интересно, что бы ты сказал, будь это твоя земля». Скептики ошибались – эксперимент выскочки оказался успешным, отчасти благодаря тому, что в первые годы он вкалывал по восемнадцать часов в сутки. Случались и неудачи – два раза не уродилась пшеница, а один раз снежная вьюга погубила несколько сотен овец. Но через десять лет владения Клаттера уже состояли из восьми тысяч акров, принадлежавших ему безраздельно, и еще трех тысяч, которые он брал в аренду, – а это, как признавали его коллеги, был «очень неплохой кус». Пшеница, просо и кондиционные семена – вот на чем строилось благополучие фермы. Скот – овцы и особенно коровы – тоже играл немалую роль. Семьсот херсфордских коров носили тавро Клаттера, хотя по тем животным, что

оставались в загоне, никто бы этого не сказал: загон предназначался для слабеньких бычков и дойных коров – а заодно для Нэнсиных кошек и всеобщей любимицы Крошки, старой разжиревшей ломовой лошади, которая никогда не отказывалась протопать по дороге, неся на своей широкой спине троих-четверых ребятишек.

Мистер Клаттер отдал Крошке огрызок яблока и поздоровался с мужчиной, который шуровал граблями за загородкой, – Альфредом Стоуклейном, единственным из работников, который жил у него на участке. Стоуклейны со своими тремя детьми обитали в домике, стоящем всего в ста ярдах от особняка Клаттеров; за этим исключением соседей у мистера Клаттера не было в радиусе полумили. Стоуклейн повернул к хозяину свою вытянутую физиономию с длинными коричневыми зубами и спросил:

– Я вам сегодня ни для чего такого не нужен? А то у нас болеют. Младшая наша. Мы с моей миссис всю ночь над ней просидели. Вот, думал к доктору ее сносить.

Мистер Клаттер, выразив сочувствие, сказал, что конечно, на все утро он его отпускает, а если они с женой могут чем-то помочь, пусть им дадут знать. Потом вдвоем с псом, который трусил впереди, он пошел на юг, в сторону полей, которые сейчас, после жатвы, были цвета львиной шкуры и отливали золотом стерни.

Этот путь вел к реке; неподалеку от берега был небольшой сад – персики, груши, вишни и яблони. По воспоминаниям местных жителей, пятьдесят лет назад лесорубу потребовалось всего десять минут, чтобы вырубить все деревья в западном Канзасе. Даже сегодня тут сажали только трехгранные тополя да китайские вязаы, почти столь же равнодушные к воде, как кактусы. Хотя, как любил повторять мистер Клаттер, «еще бы на дюйм больше осадков, и эта земля стала бы просто Эдемом – раем на земле». Небольшой фруктовый сад возле реки был попыткой сотворить – есть дождь, нет ли – уголок того самого Эдема, того зеленеющего, благоухающего яблоками рая, который представлялся внутреннему взору мистера Клаттера. Жена его как-то сказала: «Мой муж об этих деревьях печется больше, чем о родных детях», и все в Холкомбе помнили тот день, когда маленький самолет, потеряв управление, бухнулся прямо на персиковые деревья. «Герб тогда словно с цепи сорвался. Пропеллер еще не остановился, а он уже поволок летчика в суд», – говорили соседи.

Мистер Клаттер шел садом вдоль реки, которая в этом месте была неглубока и вся усеяна островками – окруженными водой пляжами с мелким песочком, куда в былые времена, пока Бонни была еще в форме, по воскресеньям, в жаркие дни законного отдыха, привозили корзинки для пикника, и семья проводила день в ожидании, когда дернется кончик удилица.

Мистер Клаттер редко сталкивался с нарушением границ своей территории; за полторы мили от шоссе, да еще если учесть, что дорога едва различима, это было не то место, куда мог забрести случайный незнакомец. Но сейчас чужаков вдруг оказалась целая компания, и Тедди – так звали пса – с грозным рычанием ринулся вперед, что, вообще-то, было ему несвойственно. Хотя он был хорошим сторожем, всегда начеку и лаем мог разбудить мертвого, в его отваге был один изъян: стоило ему углядеть ружье – а все пятеро пришельцев были вооружены, – как голова его клонилась к земле, а хвост опускался. Никто не знал почему, поскольку никто не знал, что с ним было до того, как несколько лет назад его подобрал Кеньон. Незваные гости оказались охотниками на фазанов, приехавшими из Оклахомы. Охотничий сезон в Канзасе, самое яркое событие ноября, привлекает сюда толпы охотников из соседних штатов, и за последнюю неделю целый полк клетчатых кепок прошеествовал по осенним просторам, паля из ружей и срезая свинцовыми шариками дробь меднокрылых птиц, разжиревших на зерне. По обычаю, охотники, если только они не были приглашены в гости, платили хозяину за разрешение преследовать дичь на его земле; но когда оклахомцы предложили мистеру Клаттеру купить у него это право, он только рассмеялся.

– Я не так беден, как вам могло показаться. Ради бога, стреляйте сколько влезет, – сказал он и, вежливо прикоснувшись пальцами к козырьку кепки, повернул к дому, где его ждала каждодневная работа, не подозревая, что ему предстоит выполнить ее в последний раз.

* * *

Так же как мистер Клаттер, молодой человек, который завтракал в кафе под названием «Маленькое сокровище», никогда не пил кофе. Он предпочитал сладкое пиво. Три таблетки аспирина, холодное сладкое пиво и несколько сигарет «Пэлл-Мэлл» подряд – таково было его представление о нормальной «пайке». Он потягивал пиво, покуривал и изучал разложенную на стойке карту Мексики – «Филипс-66». Только ему было трудно сосредоточиться, потому что он

ждал друга, а друг опаздывал. Он посмотрел в окно на тихую улицу городка, на улицу, которую впервые увидел только вчера. Дика все не видать. Но он непременно появится – в конце концов, это Дик предложил встретиться, и «фарт» тоже его. А когда все будет сделано – в Мексику. Карта была рваная и такая замусоленная, что стала мягкой, как замша. В отеле за углом, где остановился этот молодой человек, у него в комнате была их целая сотня – старые карты всех штатов, всех канадских провинций, всех стран Южной Америки, – поскольку он без конца строил планы путешествий и немалую часть их осуществил: побывал на Аляске, на Гавайях, в Японии и в Гонконге. Теперь, благодаря этому письму, приглашению на «фарт», он оказался здесь со всем своим добром: фибровым чемоданчиком, гитарой и двумя большими сундуками – с книгами, картами, песнями, стихами и давними письмами – общим весом в четверть тонны. (Ну и рожа была у Дика, когда он увидел эти сундуки! «Господи, Перри! Ты что, всюду таскаешь с собой этот хлам?» А Перри ответил: «Что значит „хлам“? Из этих книг одна встала мне в тридцать баксов».) И вот теперь он торчит в крошечном городке Олате, штат Канзас. Если вдуматься, это даже забавно: надо же было снова вернуться в Канзас, после того как он поклялся – сначала Совету по вопросам условного освобождения, потом самому себе, – что ноги его в Канзасе больше не будет. Ладно уж, он быстренько.

Карта кишела обведенными в кружочек названиями. КОСУМЕЛЬ, остров недалеко от Юкатана, где, как Перри вычитал в мужском журнале, можно «сбросить одежду, нацепить блаженную улыбку, жить, как раджа, и иметь любую женщину, какую пожелаешь, – и все это за полсотни долларов в месяц». Из той же статьи он помнил еще такие весьма приятные утверждения: «Косумель свободен от всякого социального, экономического и политического давления. На этом острове к частному лицу не прицепится ни один чиновник». А также – «Ежегодно с материка сюда прилетают гнездиться попугаи». Название АКАПУЛЬКО вызывало в голове картины рыбной ловли в открытом море, казино, знойных богачек; а СЬЕРРА-МАДРЕ – это золото, это «Сокровище Сьерра-Мадре», фильм, который он смотрел восемь раз. (Это была лучшая картина с Богартом, но и старикан, который изображал старателя, того, что напомнил Перри его отца, тоже классно сыграл... Уолтер Хьюстон. И, между прочим, Дику он, Перри, сказал чистую правду: он и в самом деле знал все тонкости работы старателя, научившись им еще от отца, который занимался этим профессионально. Так почему бы им, ему и Дику, не купить пару вьючных лошадей и не попытаться счастья в Сьерра-Мадре? Но Дик, практичный Дик, сказал: «Тпру, дружок, полегче. Видел я это кино. В конце там все слетают с катушек. От лихорадки, пиявок и всяких Тяжелых Условий. И потом, вспомни – когда они нашли золото, налетел вихрь и сдул все, что они намыли».)

Перри сложил карту, заплатил за пиво и встал из-за стойки. Сидя он выглядел прямо-таки исполином: плечи, руки и плотный кряжистый торс у него были как у тяжелоатлета – и надо сказать, поднятие тяжестей было его хобби, – но нижняя и верхняя части тела у него были непропорциональны. Маленькие ступни, закованные в короткие черные сапоги с металлическими пряжками, были, казалось, созданы для изящных бальных туфель; стоя он был не выше двенадцатилетнего подростка и как только начинал расхаживать на своих коротеньких ножках, совершенно не вязавшихся с тем взрослым туловищем, которое они поддерживали, то сразу делался похож не на здоровяка-дальнобойщика, а на отставного жокея, погрузневшего и накачавшего мышцы.

Потом он вышел из забегаловки погреться на солнышке. Было уже без четверти девять, Дик опаздывал на полчаса; впрочем, если Дик до сих пор не уяснил себе, как важна каждая минута ближайших двадцати четырех часов, ему, Перри, нет до этого дела. Время редко становилось для него бременем, поскольку он знал массу способов его убить – например, посмотреть в зеркало. Дик однажды не выдержал: «Стоит тебе завидеть зеркало, ты прямо впадаешь в транс. Будто увидел какую-то обалденную задницу. Я в том смысле – как только тебе не надоест?» Какое там: Перри завораживало собственное лицо. Под разным углом оно казалось разным, это было лицо подменыша эльфов, и после долгих упражнений перед зеркалом он научился изменять его как угодно. Мог нацепить жуткую маску, мог стать озорным, а потом – томным; легкий наклон головы, изгиб губ – и беспутный цыган превращается в нежного романтика. Его мать была чистокровной чероки; от нее Перри унаследовал кожу цвета йода, темные влажные глаза, черные волосы, которые он смазывал бриллиантином и которых хватало на бачки и гладкий кустик челки. Одним словом, то, чем его одарила мать, сразу бросалось в глаза; что касается наследства отца, веснушчатого рыжеволосого ирландца, то оно было не так заметно, будто индейская кровь размыва все следы кельтской. И все же розовые губы и вздернутый нос подтверждали, что следы эти есть, как подтверждали это его повадки и беспардонная ирландская самовлюбленность, которые часто скрывались под маской индейца, но оживляли ее, когда Перри играл на гитаре и пел. Исполнение песен перед воображаемой публикой было еще одним увлекательным способом скоротать пару часов. Перри все время мысленно проигрывал один и тот же сценарий – ночной клуб в его родном Лас-Вегасе и шикарный зал, заполненный знаменитостями, которые восторженно внимают новой звезде, исполняющей свою знаменитую версию «I'll be seeing you» в сопровождении скрипок, а на бис – самую последнюю балладу собственного сочинения:

Каждый год в апреле

Стаи попугаев

Мимо пролетают,

Крыльями алея.

Я слышу, как они летят,

Я слышу, как они свистят,

И от этих трелей всем становится теплее.

(Дик на первом прослушивании этой баллады сделал такой комментарий: «Попугаи не свистят и не выводят трелей. Может, говорят или кричат, но, хоть ты меня режь, трелей они не выводят». Ясное дело, Дик начисто лишен воображения – ну просто начисто; он ни черта не смыслит ни в музыке, ни в поэзии. Хотя, если разобраться, именно приземленность Дика, его практический подход ко всему и были основными чертами, привлекавшими к нему Перри, – ибо по сравнению с ним самим Дик казался ему таким закаленным, крутым, неуязвимым. Настоящим мужчиной.)

Впрочем, грезы о Лас-Вегасе, как бы приятны они ни были, бледнели на фоне другого видения. Еще с самого детства, почти все тридцать лет, что он прожил на свете, Перри гонялся за книгами («БОГАТСТВА ГЛУБИН! Тренируйтесь дома в свободное время. Подводное плавание! Ваш шанс быстро разбогатеть! БЕСПЛАТНЫЕ БУКЛЕТЫ...»), покупаясь на рекламу («ЗАТОНУВШИЕ СОКРОВИЩА! Пятьдесят подлинных карт! Потрясающее предложение...»), которая неустанно подогревала его жажду наяву пережить приключение, уже сотни раз пережитое в воображении: вот он медленно погружается в незнакомые воды, в зеленый морской полумрак, скользя мимо покрытых чешуей стражей вырисовывающегося впереди остова корабля, испанского галеона, затонувшего с грузом сокровищ. Россыпи бриллиантов и жемчугов, штабеля ларцов с драгоценностями.

Гудок клаксона. Дик. Наконец-то.

* * *

– Господи боже, Кеньон! Да слышу я!

Вечно этот Кеньон. Снизу неслись крики:

– Нэнси! К телефону!

Босиком, в одной пижаме, Нэнси сбежала по лестнице. В доме было два аппарата: один в кабинете отца, другой на кухне. Она взяла трубку в кухне.

– Алло? А, миссис Кац! Доброе утро.

И миссис Кларенс Кац, жена фермера, который жил у шоссе, затараторила:

– Я просила твоего папу тебя не будить. Я сказала: наверное, она устала после такого блестящего вчерашнего выступления. Ты была такая красавица, дорогая! Эти белые бантики у тебя в волосах! А та сцена, где ты подумала, что Том умер, – у тебя на глазах были настоящие слезы! Просто не хуже, чем по телевизору! Но твой папа сказал, что тебе пора вставать, – и правда, уже скоро девять. Так вот что я хотела, дорогая, – моя дочурка, моя маленькая Джолен, просто сгорает от желания испечь пирог с вишнями, а раз уж ты у нас лучшая специалистка по вишневым пирогам и всегда получаешь призы, то, может, я сейчас ее к вам подвезу и ты покажешь ей, как и что?

Вообще говоря, Нэнси с удовольствием научила бы Джолен готовить хоть целый обед с индейкой; она считала своим долгом уделять время девочкам помладше, когда те не справлялись с готовкой, шитьем или уроками музыки – или же, как нередко бывало, когда им хотелось посекретничать. Каким чудом ей удавалось выкроить свободный час, притом что она по существу в одиночку содержала большой дом, была отличницей, президентом класса, возглавляла программу «4С» и Лигу юных методистов, великолепно музицировала (фортепьяно, кларнет), каждый год побеждала на окружных ярмарках (выпечка, консервирование, вышивание, цветоводство), каким чудом девушка, которой еще нет семнадцати, умудряется тащить такой воз – и при этом без всякого чванства, а наоборот, с непринужденным изяществом, – было загадкой, над которой ломало голову все холкомбское общество. В конце концов люди решили следующим образом: «У нее есть характер. Она пошла в своего старика». Безусловно, самую сильную черту, определяющую характер, Нэнси действительно унаследовала от отца: организованность, доведенную до совершенства. У нее все было расписано; она точно знала, что и в какой час будет делать и сколько это займет времени. В том-то и заключалась загвоздка:

сегодняшний день у нее был уже весь распланирован. Она обещала помочь дочери других соседей – Рокси Ли Смит – отрепетировать соло на трубе, которое Рокси хотела исполнить на школьном концерте, а потом ей предстояло выполнить три важных поручения своей матери, затем съездить с отцом на собрание клуба «4С» в Гарден-Сити, приготовить обед, а после обеда заняться платьем к свадьбе Беверли, которое Нэнси сама придумала и шила тоже сама. Как ни верти, свободного местечка для выпечки вишневого пирога не выкроишь; разве что отменить какой-то другой пункт.

– Миссис Кац? Подождите, пожалуйста, минутку, хорошо?

Нэнси прошла в кабинет отца, отгороженный от остального помещения раздвижной дверью; отсюда был еще один выход – на улицу, для посетителей. Хотя время от времени мистер Клаттер сидел тут вместе со своим партнером Джеральдом Ван Влитом, в принципе это была его келья – чистенькое святилище, отделанное ореховыми панелями; здесь висели барометры, графики выпадения осадков, бинокль – и мистер Клаттер восседал среди всего этого, как капитан в своей каюте, как штурман, ведущий «Речную Долину», рискованным порою путем, сквозь все времена года.

– Не переживай, – сказал он, выслушав Нэнси. – Пропусти «4С». Я возьму с собой Кеньона.

Сняв трубку прямо в кабинете, Нэнси сказала миссис Кац – что ж, прекрасно, привозите Джолен прямо сейчас. Но когда она повесила трубку, брови ее были нахмурены.

– Странно, – сказала она, обведя взглядом комнату. Ее отец помогал Кеньону сложить колонку цифр, а у окна за своим столом сидел мистер Ван Влит. Помощник мистера Клаттера обладал какой-то тяжеловатой породистой красотой, из-за чего Нэнси за глаза называла его «Хитклиф». – Я чувствую запах сигарет.

– Когда дышишь? – уточнил Кеньон.

– Нет, когда ты дышишь. Глупый вопрос.

Кеньон замолк, поскольку знал, что ей известно о том, что он время от времени делает пару затяжек украдкой. Но, между прочим, Нэнси тоже покуривала.

Мистер Клаттер хлопнул в ладоши.

– Ну все, хватит. Здесь все-таки кабинет.

Поднявшись к себе, Нэнси переоделась в потертые «ливайсы» и зеленый свитер и защелкнула на запястье золотые часы; выше их среди своих сокровищ она ценила только ближайшего друга – кота Эвинруда, а на первом месте у нее стояла печатка – подарок Бобби, громоздкое доказательство ее статуса «подружки», – которую она носила (когда носила: при малейшей размолвке кольцо отправлялось в изгнание) на большом пальце: даже с помощью липкой ленты нельзя было приспособить мужское кольцо к другому пальцу, более подходящему для этой цели. Нэнси была хорошенькой девушкой, стройной и по-мальчишески живой; самыми красивыми в ее облике были коротко подстриженные блестящие каштановые волосы (она ровно сто раз проводила по ним щеткой с утра и столько же на ночь) и отполированное тщательными умываниями личико, до сих пор немного веснушчатое и розовато-смуглое от солнца ушедшего лета. Но притягательнее всего в ней были глаза – широко раскрытые, темные, но прозрачные, словно эль, если его рассматривать на свет, они очаровывали людей, которые видели в них доверчивость и доброту: импульсивную, но в то же время осознанную.

– Нэнси! – крикнул снизу Кеньон. – Сьюзен звонит.

Сьюзен Кидвелл, ее наперсница. Нэнси опять сняла трубку на кухне.

– Рассказывай, – потребовала Сьюзен; она неизменно начинала телефонный разговор с этой команды. – И в первую очередь объясни, зачем тебе вздумалось флиртовать с Джерри Роттом?

Джерри Ротт, как и Бобби, был баскетбольной звездой школы.

– Вчера вечером? Господи, да я и не думала с ним флиртовать. Ты имеешь в виду, что мы держались за руки? Просто он во время спектакля зашел за кулисы. А я очень нервничала. Ну он и взял меня за руку. Чтобы придать смелости.

– Очень мило. Ну а потом?

– Потом Бобби водил меня на фильм ужасов. И в кино уже он держал меня за руку.

– Он очень страшный? Я не о Бобби, я о фильме.

– Бобби считает, что нет. Он всю дорогу только смеялся. Но ты же меня знаешь. Мне крикни «бу!», и я тут же брякнусь со стула.

– Что ты там грызешь?

– Ничего.

– А я знаю что – ногти, – Сьюзен попала в точку. Как Нэнси ни старалась, ей не удавалось избавиться от привычки обкусывать ногти, когда что-то ее угнетало, и порой она могла сгрызть их до мяса. – Выкладывай. У тебя неприятности?

– Нет.

– Нэнси! C'est moi... – Сьюзен учила французский.

– Да папа... Последние три недели он ужасно не в духе. Ужасно. По крайней мере, как только дело касается меня. И когда я вчера вернулась домой, он опять завел свою шарманку.

«Шарманка» не требовала разъяснений; эту тему подруги уже давно подробно обсудили и пришли к единому мнению. Подводя итог обсуждениям, Сьюзен в свое время сказала:

– Сейчас ты любишь Бобби и он тебе нужен. Но при всем том даже ему понятно, что ничего из этого не получится. Потом, когда мы уедем на Манхэттен, все будет по-новому. – Канзасский университет был на Манхэттене, и девушки давно задумали поступить туда на отделение искусств и поселиться в одной комнате. – Тогда все переменится, хочешь ты того или нет. Но сейчас ты ничего не можешь поделать. Ты ничего не изменишь, пока живешь тут, в Холкомбе, и каждый день видишься с Бобби. Да и нет смысла стараться. Ведь у вас с Бобби все так

хорошо. И у тебя останутся приятные воспоминания – потом, если вы с Бобби расстанетесь. Неужели ты не можешь втолковать это отцу?

Нет, Нэнси не могла.

– Потому что, – объясняла она Сьюзен, – стоит мне только начать что-то ему говорить, как он сразу смотрит на меня так, будто я его не люблю. Или люблю меньше. И у меня уже язык не поворачивается продолжать. Я просто хочу быть его дочерью и делать так, как ему нравится.

На это Сьюзен ответить было нечего: такие чувства лежали за пределами ее жизненного опыта. Сьюзен жила вдвоем с матерью, преподавательницей музыки в холкомбской школе, и своего отца почти не помнила: много лет назад, когда они еще не переехали сюда из Калифорнии, мистер Кидвелл однажды вышел из дома и не вернулся.

– И все равно, – продолжала тем временем Нэнси, – вряд ли это только из-за меня. Не от этого он стал такой въедливый. Что-то еще его тревожит, причем очень тревожит.

– Твоя мать?

Никто больше из друзей и подруг Нэнси не осмелился бы коснуться этой болезненной темы. Но Сьюзен была на привилегированном положении. Когда она впервые появилась в Холкомбе – задумчивая, мечтательная девочка, хрупкая, болезненная и чувствительная, – ей было восемь: на год меньше, чем Нэнси. Клаттеры приняли новую подружку дочери с таким радушием, что маленькая девочка из Калифорнии, лишившаяся отца, скоро стала почти что членом семьи. Восемь лет Нэнси и Сьюзен были неразлучны; благодаря редкой близости взглядов на мир они стали друг для друга незаменимы. Но в минувшем сентябре Сьюзен перевели из местной школы в более просторную и, как предполагалось, более солидную школу в Гарден-Сити. Это был обычный порядок для всех холкомбских школьников, которые собирались поступать в колледж, но мистер Клаттер, неукротимый патриот своей общины, такое дезертирство считал оскорблением для самого духа сообщества. Холкомбская школа достаточно хороша для его детей, и они доучатся в ней до конца. Теперь подружки днем были разлучены, и Нэнси тяжело это переживала; ей не хватало Сьюзен – единственной, перед кем ей не надо было ни бодриться, ни запираться.

– Может быть. Но мы все так за нее рады – ты же знаешь, какие у нас чудесные новости. Послушай-ка. – Нэнси помолчала, словно пыталась справиться с раздражением, которое все-таки выплеснулось в следующих словах: – Ну почему меня всюду преследует запах табачного дыма? Честное слово, мне кажется, я схожу с ума! Я сажусь в машину, вхожу в комнату – и все время мне мерещится, будто там только что кто-то курил. Но это не мама и уж конечно не Кеньон. Кеньон бы не посмел...

Как, вероятно, не посмел бы никто из тех, кто заходит к Клаттерам, в чьем доме подчеркнуто не держат пепельниц. Сьюзен постепенно начала понимать, к чему клонит Нэнси. Однако это была полная нелепость. Какие бы тревоги ни терзали мистера Клаттера, невозможно поверить, что он станет искать утешения в табаке. Но прежде чем Сьюзен успела спросить, верна ли ее догадка, Нэнси вдруг оборвала разговор:

– Извини, Сьюзен. Мне нужно идти. Миссис Кац уже приехала.

* * *

Дик сидел за рулем черного седана «шевроле» выпуска 1949 года. Забравшись в машину, Перри первым делом проверил, на месте ли его гитара: накануне вечером они были в гостях у приятелей Дика, и он забыл ее на заднем сиденье. Это был старый «гибсон», отшкуренный и натертый воском до желтизны меда. Рядом с гитарой лежал инструмент иного рода – помповое ружье двенадцатого калибра, новенькое, с сизым отливом, с деревянным ложем, на котором была выгравирована сценка из охотничьей жизни – взлетающие фазаны. Фонарик, рыбацкий нож, кожаные перчатки и охотничий жилет с торчащими из кармашков патронами способствовали созданию особой атмосферы этого прелюбопытного натюрморта.

– Ты его наденешь? – спросил Перри, указывая на жилет.

Дик постучал костяшками пальцев по ветровому стеклу.

– Тук-тук. Простите, сэр, мы здесь охотились неподалеку и заблудились. Нельзя ли от вас позвонить...

– Si, se?or. Yo comprendo.[1 - Да, сеньор. Я понял (исп.).]

– Дело верное, – сказал Дик. – Я тебе обещаю, дружок, мы ихние мозги по всем стенам размажем.

– Их мозги, – поправил Перри. Фанат словаря, горячий поклонник заумных книжных слов, он не уставал исправлять грамматические ошибки своего товарища и расширять его лексикон с тех самых пор, как они вместе мотали срок в Канзасской исправительной колонии. Его ученик нисколько не обижался на эти уроки и, чтобы порадовать своего учителя, как-то раз даже разродился тетрадкой стихов; хотя эти вирши отличались крайней непристойностью, Перри нашел их «веселыми и непосредственными» и отдал рукопись в тюремную лавку, где ее переплели и золотым тиснением сделали на обложке надпись: «Грязные шутки».

На Дике был синий джемпер с надписью на спине «Боб Сэндз. Товары для тела». Они с Перри проехали по главной улице Олата и остановились перед другим заведением Боба Сэндза – авторемонтной мастерской, где Дик работал с тех пор, как вышел из тюрьмы (это было в середине августа). Он был хорошим механиком и получал шестьдесят долларов в неделю. За работу, запланированную им на это утро, ему ничего не полагалось, но мистер Сэндз, который по субботам оставлял Дика за главного, никогда не узнает, что в тот день платил своему подчиненному за ремонт его собственного автомобиля. Взяв Перри в подручные, Дик принялся за дело. Они залили свежее масло,отрегулировали сцепление, заменили разбитый подшипник, подзарядили аккумулятор и обули задние колеса в новую резину. Одним словом, приняли все необходимые меры предосторожности, поскольку в промежутке между сегодняшним и завтрашним днем старенькому «шевроле» предстояло показать все, на что он способен.

– Потому что мой старик все время крутился во дворе, – сказал Дик, когда Перри спросил, почему он опоздал. – А я не хотел, чтобы он видел, как я выхожу с ружьем. Черт, он бы разом смекнул, что я ему навешал лапши.

– Сразу. Ну так и что же ты ему сказал? В конце-то концов?

– Как договаривались. Сказал, что мы уезжаем с ночевкой. Сказал, что едем к твоей сестре в Форт-Скотт. Что она хранит для тебя денежки – полторы штуки.

У Перри действительно имелась сестра, а одно время даже целых две, но та, что осталась, никогда не жила в Форт-Скотте – канзасском городишке в восьмидесяти пяти милях от Олата; собственно говоря, Перри сам толком не знал, где она сейчас обитает.

– Ну и что, он скривился?

– С каких дел ему кривиться?

– С таких, что он меня ненавидит, – сказал Перри – мягким и вместе с тем чуть натянутым тоном. Он говорил тихо, но слова произносил отчетливо и выпускал их так же размеренно, как пастор выпускал бы колечки дыма. – И мать твоя тоже. Я это понял по их взглядам: испепеляющие взгляды.

Дик пожал плечами.

– Ты тут ни при чем. Не в тебе дело. Они просто не любят, когда я встречаюсь с ребятами «из-за забора». – Дик, в свои двадцать восемь лет дважды женатый и дважды разведенный, отец троих сыновей, был освобожден досрочно с тем условием, что будет жить у родителей. Семья Дика, в том числе и его младший брат, жила на маленькой ферме близ Олата. – С любым парнем в родных наколках, – добавил он и потрогал синюю точку под левым глазом – отличительный знак, немой пароль, по которому его мог признать любой бывший заключенный.

– Понимаю, – сказал Перри. – И сочувствую. Они хорошие люди. Честное слово, она милая женщина, твоя мать.

Дик кивнул; он и сам так считал.

После полудня они отложили инструменты; Дик завел мотор и, послушав ровный шум двигателя, остался вполне доволен плодами своих трудов.

* * *

Нэнси с Джолен тоже остались довольны плодами своих трудов; точнее сказать, подопечная Нэнси, худенькая тринадцатилетняя девочка, просто светилась от

гордости. Она долгим взглядом посмотрела на пирог – обладатель приза голубой ленточки, на горячие, только что из печи, вишни, исходящие соком под хрустящей плетенкой корочки, а потом бросилась Нэнси на шею.

– Скажи честно, неужели я сама это сделала?

Нэнси засмеялась, обняла ее и заверила, что да, сама – разве что немного пришлось помочь.

Джолен захотела тут же его попробовать – а то, что пирог полагается остудить, это все чепуха.

– Пожалуйста, давай съедим по кусочку! И вы с нами, – обратилась она к миссис Клаттер, которая как раз вошла в кухню.

Миссис Клаттер улыбнулась – вернее, попыталась это сделать – и, поблагодарив, отказалась: у нее что-то нет аппетита.

Что же касается Нэнси, то у нее не было времени: ее ждали Рокси Ли и соло Рокси Ли на трубе, а потом – поручения матери; одно касалось девичника, который устраивали подруги Беверли из Гарден-Сити, а второе – приема на День благодарения.

– Ты иди, доченька. Я займу Джолен, пока за ней не придет мама, – сказала миссис Клаттер и, взглянув на девочку с неистребимой кротостью, добавила: – Если Джолен не возражает против моего общества.

В юности она получила приз за лучшую декламацию, но зрелость, казалось, свела все богатство ее голоса к одной ноте – виноватому тону, а всякое проявление темперамента – к набору жестов, довольно неопределенных, оттого что она вечно боялась кого-нибудь обидеть или каким-нибудь образом вызвать неудовольствие собеседника.

– Я надеюсь, ты все понимаешь, – продолжала она, когда Нэнси ушла. – Я надеюсь, ты не будешь думать, что Нэнси – невежа?

– Да что вы, конечно нет! Я просто люблю ее до смерти. И все ее любят. Другой такой, как она, не найти. Знаете, что говорит миссис Стрингер? – так звали преподавательницу домашнего хозяйства. – Она всему классу сказала: «Нэнси Клаттер всегда спешит, но у нее на все хватает времени. А это отличительная черта истинной леди».

– Да, – откликнулась миссис Клаттер. – Все мои дети прекрасно справляются. Я им не нужна.

Джолен еще не приходилось оставаться наедине со «странной» матерью Нэнси, но, вопреки пересудам взрослых, которые порой достигали ее ушей, она не чувствовала никакой неловкости в ее обществе, потому что миссис Клаттер, хотя сама все время была в напряжении, обладала свойством действовать на других успокаивающе – как, в общем-то, всякий беззащитный человек, который ни для кого не представляет угрозы. Джолен была просто ребенок, но и в ней беспомощный вид миссис Клаттер, ее смиренное лицо в форме сердечка и домотканая воздушность пробуждали жалость и желание опекать. Но представить себе, что это – мать Нэнси! Тетушка – это еще куда ни шло; старая дева, которая приехала погостить, немножко чудная, но «милая».

– Нет, я им не нужна, – повторила миссис Клаттер, наливая себе кофе. Хотя все остальные члены семьи поддерживали бойкот, объявленный ее мужем этому напитку, она каждое утро выпивала две чашки – и зачастую это была вся ее пища за целый день. Она весила девяносто восемь фунтов, и кольца – обручальное и еще одно, с бриллиантом, но очень скромное, по причине застенчивости миссис Клаттер, – свободно болтались на ее тонких пальчиках.

Джолен отрезала себе кусок пирога.

– Ух ты! – пробормотала она с набитым ртом. – Я эту вкусноту буду печь каждый день, семь дней в неделю!

– Да, у тебя ведь столько братьев – а мальчишки способны есть пироги бесконечно. Мистер Клаттер и Кеньон никогда от них не устают. Устает тот, кто готовит. Вот Нэнси так уже просто смотреть не может на пироги. И тебя ждет то же самое. Нет-нет, что это я такое говорю? – Миссис Клаттер сняла очки и прижала пальцы к глазам. – Прости, дорогая. Я уверена, тебе никогда не придется узнать, что такое усталость. Я уверена, что ты всегда будешь

счастлива.

Джолен молчала. Нотки ужаса в голосе миссис Клаттер смутили ее. Она растерялась, и ей захотелось, чтобы мама, которая обещала заехать за ней около одиннадцати, поскорее ее увезла.

Через минуту уже более спокойным тоном миссис Клаттер спросила:

– Тебе нравятся миниатюрные вещицы? Разные маленькие штучки? – и повела Джолен в гостиную, где на полочках среди всякой всячины были выставлены разные лилипутские безделушки: ножнички, наперсточки, хрустальные корзиночки с цветами, игрушечные статуэтки, вилочки и ножички. – Я их собирала с самого детства. Папа с мамой – и все мы – почти весь год проводили в Калифорнии. На берегу океана. И там был магазинчик, где продавались такие чудесные штучки. Вот эти чашечки... – подносик с приклеенными к нему кукольными чашками подрагивал у нее на ладони. – Мне их подарил папа. У меня было прекрасное детство...

Бонни была единственной дочерью преуспевающего фермера и обожаемой сестрицей троих старших братьев; поэтому ее не то чтобы баловали, но берегли, и оттого она привыкла считать жизнь сплошной вереницей приятных событий – канзасская осень, калифорнийское лето, дареные чашечки. Когда ей исполнилось восемнадцать, она, очарованная биографией Флоренс Найтингейл, устроилась в больницу Св. Розы в Грейт-Бенд учиться на медсестру. На самом-то деле она вовсе не собиралась становиться сестрой милосердия и через два года призналась себе в этом: картины больничной жизни и больничные запахи угнетали ее. И все же она по сей день жалела, что не доучилась и не получила диплом – «хотя бы затем», как она говорила подруге, «чтобы иметь свидетельство того, что я когда-то в чем-то преуспела». Но зато она познакомилась и обвенчалась с Гербом – однокурсником старшего из ее братьев, Гленна; вообще-то, поскольку две семьи жили не дальше чем в двух десятках миль друг от друга, она давно знала Герба в лицо, но Клаттеры, простые фермеры, не принадлежали к кругу тех, кого принимали у зажиточных и утонченных Фоксов. Однако Герб был хорош собой, он был благочестивый, волевой, он желал ее – и, кроме того, она была влюблена.

– Мистеру Клаттеру приходилось много ездить, – сказала она Джолен. – Ох, он без конца куда-нибудь уезжал. То в Вашингтон, то в Чикаго, то в Оклахому, то в Канзас-Сити – иногда мне казалось, что его вообще не бывает дома. Но

отовсюду, куда бы он ни поехал, муж не забывал привезти мне какую-нибудь маленькую безделушку. Он знает, как я их обожаю. – Она раскрыла крохотный бумажный веер. – Это он мне привез из Сан-Франциско. Заплатил за него всего пенни – но разве не прелестная вещица?

На второй год после свадьбы родилась Эвиана, а еще три года спустя – Беверли. Каждый раз после родов молодая мать впадала в глубочайшее уныние и в припадках отчаяния бродила по комнатам, исступленно заламывая руки. Между рождением Беверли и Нэнси прошло еще три года – и это были годы пикников по воскресеньям и летних поездок в Колорадо, годы, когда Бонни в самом деле была хозяйкой и средоточием счастья в своем доме. Но с появлением на свет Нэнси симптомы послеродовой депрессии опять повторились, а после рождения сына ощущение тоски и уныния ее уже не покидало. Оно кружило над ней, словно туча, которая может пролиться дождем, а может и не пролиться. Бывали у нее и «хорошие дни», и временами их набегали недели, а то и месяцы – но даже в лучшие из этих «хороших дней», когда во всем остальном она была «собой прежней», нежной милой Бонни, какой ее помнили старые друзья, она не могла найти в себе той жизненной энергии, какой требовала все возрастающая общественная активность ее мужа. Он был «повсюду свой», он был естественный лидер, ну а она – нет и давно бросила всякие попытки себя изменить. И таким образом, по тропинкам, огороженным трепетной заботой и безграничной преданностью, они пошли каждый своим путем, и пути их редко соприкасались, ему выпало публичное шествие, марш удовлетворенных амбиций, ей – прогулка в одиночестве, часто оканчивающаяся больничным коридором. Но Бонни еще не утратила надежды. Ее поддерживала вера в Бога, а временами и явления мирской жизни укрепляли ее в мысли о том, что рано или поздно Он явит свою милость: то она прочтет о каком-нибудь чудо-лекарстве, то услышит о новом виде терапии или, как это было совсем недавно, решит винить во всем «ущемленный нерв».

– Маленькими вещицами владеешь по-настоящему, – сказала миссис Клаттер, складывая веер. – Их не обязательно оставлять. Их можно унести в коробке из-под обуви.

– Куда унести?

– Ну, просто с собой. Вдруг придется уехать надолго.

Несколько лет назад миссис Клаттер поехала на лечение в Уичито на две недели, но пробыла там два месяца. По совету доктора, который считал, что свежие впечатления помогут ей вновь обрести «ощущение собственной значимости и нужности», она сняла жилье и устроилась на работу в архиве Христианского союза женской молодежи. Муж всецело поддерживал ее в этой затее, но ей слишком понравилась работа – до такой степени, что Бонни начало казаться, что это как-то не по-христиански, и усугубившийся вследствие этого комплекс вины свел на нет терапевтический эффект эксперимента.

– Или вообще навсегда, – продолжала она. – А ведь так важно иметь при себе что-то свое. Твое по праву.

Позвонили в дверь. За Джолен приехала мама.

Миссис Клаттер сказала:

– До свидания, дорогая, – и вложила в руку девочке бумажный веер. – Это всего-навсего грошовая безделушка. Но прелестная.

Позже миссис Клаттер осталась дома одна. Кеньон уехал с мистером Клаттером в Гарден-Сити, Джеральд Ван Влит ушел домой, а домработница, самим Богом посланная им миссис Хелм, которой доверяли любое дело, по субботам не приходила. Можно было спокойно лечь обратно в постель – в постель, из которой миссис Клаттер выбиралась так редко, что миссис Хелм приходилось буквально с боем менять ей постель два раза в неделю.

На втором этаже было четыре спальни, и спальня миссис Клаттер находилась в самом конце просторного холла, в котором стояла только детская кроватка, купленная на случай приезда маленького внука Клаттеров. Если поставить в холле раскладушки и превратить его в спальню, то, по расчетам миссис Клаттер, на День благодарения в доме можно будет разместить дюжину человек; остальным придется остановиться в мотеле или у соседей. Все Клаттеры ежегодно собирались на День благодарения – поочередно у каждого из глав семейств, и в этом году хозяином праздника был избран Герб. Так что деваться было некуда; но из-за того, что подготовка к приему совпала с подготовкой к свадьбе Беверли, миссис Клаттер боялась, что не переживет ни одного, ни другого. Оба события влекли за собой необходимость принимать решения, а этого она никогда не любила и привыкла бояться: когда ее муж уезжал по

делам, ей постоянно приходилось решать неотложные вопросы, касающиеся управления фермой. И это было невыносимо. Это была пытка. Вдруг она допустит ошибку? Вдруг Герб останется недоволен? Лучше уж запереться в спальне и притвориться, что ничего не слышишь, – или говорить, как она иногда делала: «Я не могу. Я не знаю. Ну пожалуйста...»

Комната, которую она так редко покидала, была жилищем аскета. Если бы постель была заправлена, случайный посетитель мог бы подумать, что тут вообще никто не живет. Дубовая кровать, ореховый комод, прикроватный столик – и это все, если не считать лампы, ночника, одного занавешенного окна и картины с изображением Христа, идущего по водам. Складывалось впечатление, будто Бонни, оставляя эту комнату безликой и не желая переносить сюда свои личные вещи из общей спальни, пытается смягчить оскорбление, которое наносит мужу, ночуя отдельно. В единственном занятом ящике комода лежали только бумажные салфетки, электрическая грелка, несколько белых ночных рубашек и белые хлопчатобумажные носки. Она всегда надевала носочки перед тем, как лечь, потому что все время мерзла. И по той же причине никогда не открывала окна. Позапрошлым летом в одно знойное августовское воскресенье, когда она сидела здесь в одиночестве, вышел неловкий случай. В тот день у них собрались гости – друзья, которых позвали на ферму собирать шелковицу, – и в их числе была Уилма Кидвелл, мать Сьюзен. Как многие люди, которые бывали у Клаттеров, миссис Кидвелл восприняла отсутствие хозяйки как должное, предположив, что ей «нездоровится» или она «уехала в Уичито». Как бы там ни было, когда настало время идти за ягодами, миссис Кидвелл отказалась: она выросла в городе и легко утомлялась. Пока она дожидалась возвращения любителей шелковицы, до нее донеслись рыдания – отчаянные и приводящие в отчаяние.

– Бонни! – позвала она и, взбежав по лестнице, промчалась через холл к ее комнате. Едва Уилма переступила порог, жара, стоящая в комнате, зажала ей рот, как чья-то отвратительная ладонь; она торопливо распахнула окно.

– Не надо! – закричала Бонни. – Мне не жарко! Мне холодно! Я замерзаю! Боже, Боже! – Она замолотила кулачками по кровати. – Господи, сделай так, чтобы никто меня не видел такой! – Миссис Кидвелл присела рядом с ней; она протянула к Бонни руки, и в конце концов та позволила себя обнять. – Уилма, – сказала Бонни, – я все слышала, Уилма. Как вы смеялись. Как веселились. Я все, все упустила. Лучшие годы, детей – все. Еще немного, и даже Кеньон уже станет взрослым, станет мужчиной. И какой он меня запомнит? Как какое-то

привидение, Уилма.

Сейчас, в последний день своей жизни, миссис Клаттер повесила в шкаф ситцевый халат, в котором была с утра, и надела ночную рубашку до пят и свежую пару белых носков. Затем, прежде чем окончательно отгородиться от мира, она сняла очки для постоянного ношения и надела очки для чтения. Хотя она выписывала несколько журналов («Домашний журнал для женщин», «Макколз», «Ридерз дайджест» и «Вместе: ежемесячный журнал для семьи методистов»), но на столике у кровати не было ни одного из них – только Библия. Между страниц лежала закладка – жесткая полоска муарового шелка, на которой было вышито предостережение: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда настанет это время».

* * *

У двух молодых людей было мало общего, но они этого не осознавали, связанные друг с другом множеством поверхностных черт. Оба, например, были педантичны, оба тщательно следили за личной гигиеной и заботились об аккуратном виде своих ногтей. Провозившись все утро с машиной, они битый час приводили себя в порядок в туалете гаража. Дик, раздетый до трусов, был не то же самое, что Дик, полностью одетый. В последнем состоянии он казался хрупким светловолосым юношей среднего роста, у которого на костях мало мяса, а грудь, пожалуй, даже впалая. Когда он разоблачался, становилось ясно, что это далеко не так, напротив, у него сложение борца второго полусреднего веса. На правой руке у Дика отливала зеленым вытатуированная кошачья морда; на плече цвела голубая роза. Туловище и верхние части рук были покрыты другими наколками, им самим придуманными и выполненными: голова дракона с человеческим черепом в раскрытой пасти, пышногрудые голые женщины, гремлины, размахивающий вилами, слово «мир» и рядом с ним – крест, излучающий божественный свет в виде коротких черточек, а также две сентиментальные композиции – букет цветов, посвященный «маме с папой», и сердечко, прославляющее любовь «Дика и Кэрл» – девушки, на которой он женился в девятнадцать лет и с которой развелся шесть лет спустя, чтобы сделать «все как положено» с другой юной леди, матерью его младшего ребенка. («У меня три мальчика, о которых я непременно буду заботиться, – написал он в прошении о досрочном освобождении. – Моя жена вышла замуж. Я женился второй раз, только не хочу больше иметь дела с моей второй женой».)

Но ни физические данные Дика, ни чернильная картинная галерея, украшающая его тело, не производили такого исключительного впечатления, как лицо, которое казалось составленным из плохо пригнанных друг к другу частей – как будто его голову, с узким лицом и вытянутым подбородком, словно яблоко, разрезали пополам, а когда половинки снова сложили, они сместились относительно центра. Нечто подобное действительно произошло в 1950 году: в результате автомобильной аварии губы Дика были слегка перекошены, нос кривоват, а глаза мало того, что на разном уровне, но еще и разного размера; левый, в точности как у змеи, отливал ядовитой, мертвенной синевой и косил – и хотя виной тому было увечье, казалось, что в нем отражается мутный осадок на дне души его обладателя. Впрочем, Перри говорил Дику: «Глаз – это ерунда. Зато у тебя замечательная улыбка. Пробьет любую броню». И это была правда – напряжение мышц, когда он улыбался, возвращало его лицу правильные пропорции и давало возможность увидеть менее пугающую личность – типично американского «хорошего мальчика» с отрастающим «ежиком», в меру здравомыслящего, но не слишком умного. (На самом-то деле Дик был очень умен. Тест на интеллект, проведенный в тюрьме, показал результат 130 баллов – притом что средний показатель как в тюрьме, так и за ее пределами колеблется между 90 и 110.)

Перри после травм, полученных при аварии мотоцикла, тоже остался калекой, но его увечья были куда серьезнее, чем у Дика; он полгода провалялся в больнице штата Вашингтон и еще шесть месяцев проходил на костылях; и хотя несчастный случай произошел в 1952 году, его короткие, как у карлика, ноги, переломанные в пяти местах и покрытые ужасными шрамами, до сих пор так сильно болели, что он подсел на аспирин. У Перри было меньше наколок, чем у его дружка, зато они были более изощренные – не такие, какие сам себе делает любитель, но шедевры искусства, изобретенного мастерами Гонолулу и Иокогамы. На правом бицепсе у него было выколото «КУКИ», имя приветливой сиделки из той больницы, где он лежал. На левом скалился синий оранжевоглазый тигр с красными клыками, по руке, обвиваясь вокруг кинжала, струилась шипящая змея; в других местах мерцали черепа, надгробная плита и хризантема.

– Ну ладно, красавец. Убирай расческу, – сказал Дик, уже одетый и готовый идти. Он сменил рабочую одежду на серые армейские брюки и такую же рубашку и надел короткие черные сапоги, такие же, как у Перри. Перри, которому никогда не удавалось найти брюки, подходящие для его укороченной нижней половины, носил синие джинсы, подвернутые снизу, и кожаную куртку. Отмытые, причесанные, чистенькие, как два пижона, отправляющиеся на двойное

свидание, они уселись в автомобиль.

* * *

Расстояние между Олатом, пригородом Канзас-Сити, и Холкомбом, который можно назвать пригородом Гарден-Сити, составляет приблизительно четыреста миль.

Город с населением в одиннадцать тысяч человек, Гарден-Сити заложил основы своего нынешнего существования вскоре после Гражданской войны.

Странствующий охотник на бизонов, мистер К. Дж. (Баффало) Джонс много сделал для того, чтобы в будущем горстка хижин и покосившихся коновязей переросла в богатый центр фермерских хозяйств с ослепительными салунами, оперой и самой шикарной гостиницей от Канзас-Сити до Денвера – короче говоря, в город, который воплотил в себе все представления о приграничной жизни и в этом отношении мог посоперничать с более известным Додж-Сити, находящимся в пятидесяти милях к востоку. Вместе с Баффало Джонсом, который потерял сначала деньги, а потом и разум (в последние годы жизни он бродил по улицам, уговаривая прохожих не истреблять поголовно тех самых бизонов, которых сам в свое время так успешно истреблял), город утратил все очарование прошлого. Остались, конечно, кое-какие сувениры; несколько в меру колоритных деловых зданий, известных как квартал Баффало, и некогда роскошный отель «Виндзор» со своим до сих пор роскошным салоном с высокими потолками, пальмами в горшках и незабываемыми плевательницами, выжили – но только в качестве достопримечательностей – среди всевозможных магазинов и супермаркетов Мэйн-стрит, сравнительно немногочисленной улицы, ибо темные, огромные апартаменты и гулкие коридоры «Виндзора» хоть и вызывают воспоминания, но не в состоянии конкурировать с удобствами и кондиционированным воздухом маленькой чистенькой гостиницы «Уоррен» или с телевизорами в каждом номере и «бассейнами с подогревом» мотеля «Хлебный край».

Любой, кто пересекал Америку от побережья до побережья, не важно, поездом или на автомобиле, наверняка проезжал через Гарден-Сити, но резонно предположить, что немногим путешественникам это событие запало в память. Городок кажется одним из многих ему подобных, размером не больше ярмарки, городков в центре – практически в самой середине – континентальной части Соединенных Штатов. Жители вряд ли разделяют это мнение – и, возможно, они

правы. Быть может, их доводы кому-то покажутся натяжкой («Хоть весь мир обойди, не найдешь людей дружелюбнее, воздуха чище и воды слаще, чем здесь», и «Я мог бы податься в Денвер и получал бы там втрое больше, но у меня пятеро детей, и я прикинул, что им нигде не будет так хорошо, как здесь. Отличные школы, все виды спорта. У нас есть даже двухгодичный колледж», и «Я приехал сюда открыть адвокатскую практику. На время. Я вовсе не собирался здесь оставаться. Но когда подвернулась возможность переехать, я подумал – зачем? Чего ради? Может, здесь и не Нью-Йорк – но кому этот Нью-Йорк нужен? Хорошие соседи, люди, которые заботятся о ближнем, вот что важно. А все остальное, что нужно приличному человеку, – у нас и это есть. Красивые церкви. Поле для гольфа»), но новичок, приехавший в Гарден-Сити, как только он привыкнет к ночной – а ночь там начинается после восьми – тишине Мэйн-стрит, найдет что добавить к хвастливым оправданиям местных жителей: отлично организованную публичную библиотеку, компетентную ежедневную газету, изумрудногазонные тенистые скверы, спокойные жилые кварталы, где собаки и дети могут всласть порезвиться, большой парк с извилистыми дорожками, в котором есть даже зверинец («Белые медведи, спешите видеть! Сло니ха Пенни, спешите видеть слонишу Пенни!»), и плавательный бассейн площадью в несколько акров («Самый большой в мире БЕСПЛАТНЫЙ плавательный бассейн!»). Из всего этого, а также из пыли, ветра и свистков паровоза складывается «родной город», который, вероятно, с ностальгией вспоминают те, кто его покинул, и который дает тем, кто остался, ощущение прочных корней и удовлетворения жизнью.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

Да, сеньор. Я понял (исп.).

Купить: https://tellnovel.com/kapote_trumen/hladnokrovnoe-ubiystvo

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)